

Я смотрел по телевизору парад на Красной площади в честь семидесятилетия Великой Победы. Вернее, не сам парад – меня как-то мало волновали танки, бронемашины и прочая военная машинерия, – я глядывался в лица ветеранов, камеры нет-нет да и выхватывали их из общей массы гостей на трибунах возле Мавзолея, прикрытого по случаю парада какими-то нелепыми декорациями.

Настоящие ветераны!.. Морщинистые лица... блеклые, почти потерявшие цвет глаза... На мужчинах – армейские фуражки с разного цвета околышами, немного морских, чёрных с «крабами» над козырьками, на женщинах – военные береты. Многие с офицерскими погонами, полученными, как правило, уже «в запасе», некоторые с сержантскими лычками, но все – с орденами Отечественной войны, медалями и бесчисленными юбилейными значками. Помнится, когда-то я относился к этим знакам с изрядной долей иронии – чем бы, мол, старички ни тешились! – и только с годами начал понимать: это же для них отметки жизни и памяти! Вот, мол, ещё сколько-то лет прожито после войны, а нас не забывают. Хотя и сегодня, через семьдесят лет, не у всех есть нормальное жильё.

Смотрел я на них, смотрел и вдруг ощутил, как что-то когтистое схватило сердце, крепко сжало – аж из глаз брызнуло – и медленно-медленно отпустило. А в голове одна мысль осталась: «Господи, да ведь в этом году моему отцу исполнилось бы сто лет!» СТО ЛЕТ! Сума сойти!

Отца я, в общем-то, не знал. Он ушёл сначала на Финскую войну рядовым, потом ненадолго вернулся, а в июле 41-го был снова призван и направлен в школу лейтенантов. В детской памяти осталось: мы стоим в тесной прихожей – мама с большим животом (она была на шестом месяце, беременна двойней), высокий отец в серой шинели и я, трёхлетний, у них в ногах, обнимаю сапог отца, а пола его шинели колюче трёт мою щёку.

Ещё помнится случай, кажется, из 42-го года. Но к нему – маленькое предисловие.

Был у нас большой, накрытый половиком домашней вязки, сундук. Что в нём хранили, не знаю, но помню, как, свернувшись калачиком, на нём спал мой прадед Матвей Федорович Ставцев, вернувшийся из ссылки. Его в начале 30-х раскулачили (все детали я узнал много позже от мамы). Моя бабушка, её в нашей семье звали мама Поля, приходилась ему дочерью. Трёх сыновей раскулачивание не задело: отец их вовремя отправил из села, а жизнь раскидала по России. Деда, Гордея Антоновича Свечникова, мы называли папкой; он служил в звании старшего лейтенанта бухгалтером в военном госпитале. Деду полагался пистолет. Однажды он его забыл, я, конечно, добрался до него и случайно нажал на курок. Пуля чуть не попала в спящего прадеда, срикошетила о порог комнаты, оставив на нём дугообразную обугленную щербину. Меня не наказали, а папке от мамы Поля досталось: чтоб не оставлял без присмотра опасные вещи.

Так вот, об отце. Вспоминается сумрачный вечер, мама сидит на этом сундуке с запелёнутыми моими братишками на руках и воет, запрокинув голову к потолку. Не плачет, а именно воет, на одной тоскливой ноте. Мама Поля суется вокруг, пытается забрать деток, но мама прижала их к себе, не отдаёт... Оказывается, пришло письмо от фронтовой жены отца, в котором та категорически заявляла, что Пётр к семье не вернется. Знал ли об этом письме сам лейтенант Федотов, для меня осталось неизвестно. Полагаю – знал, а самому написать – рука не поднялась. Смалодушничал.

Как потом неохотно рассказывала мама, отец был мужчиной весьма любвеобильным. По отношению не только к ней. Из тех, кого называют в народе просто и ёмко – бабник. Но, наверное, было в нём что-то

такое, что неотвратимо притягивало женщин. Вот и мама моя, юная ФЗУшница, повелась, и в результате появился я, всего через два месяца после её восемнадцатилетия. Но надо отдать должное молодому технику Федотову – он не отмахнулся от сына, а, узаконив отношения, дал мне фамилию и отчество.

Однако воюющую маму с двумя пищащими свёртками на руках я, будучи уже студентом, решил не прощать отцу никогда.

Многие годы я не думал о нём, жил своей детской жизнью, с её мелкими радостями и печалью. В Томске было голодно и холодно. Как-то зимой у нас на кухне замёрз мешок картошки, и мы – две моих тетки и дядька (старшей, Тамаре, четырнадцать лет, Зине двенадцать, а Гене – девять) – радостно грызли нечаянное лакомство: картошка заменила нам недоступные сладости. Ещё помню, как мы бегали в центр города, там, в переулке Батенькова, в полуподвале, была пекарня, и мы подолгу стояли у открытых форточек, впитывая запахи свежее испечённого хлеба и разглядывая суetyщихся внизу женщин в белых халатах. Может быть, надеялись, что угостят хоть корочкой. Не угостили.

В нашей семье работали два человека – папка (дед) и моя мама. Дед, как я уже говорил, в госпитале, мама – на теплоэлектростанции ТЭЦ-1, лаборанткой (она там работала до пенсии). Бабушка, мама Поля, занималась детьми и хозяйством. По карточкам на семью в девять человек получали кирпич серого пеклеванного хлеба, его делили на равные части, и каждый мог со своей долькой делать что угодно – растягивать на весь день или сразу съесть. Зимой мы зарывали куски хлеба в сугроб возле крыльца и потом грызли их, замороженные до каменного состояния. Было очень вкусно! Я часто прятал свою пайку в какой-то пустой чемодан; зачем – не знаю, может быть, копил на случай худшего времени. После войны перетряхивали вещи и в чемодане нашли кучу заплесневелых сухарей – это был сэкономленный мною хлеб.

Летом ели много разной травы, особенно когда выбирались в лес. Там росли таёжные сиреневые лилии-саранки, мы выкапывали и ели их луковицы; срезали высокие с большими зонтиками «дудки» – если их очистить от грубого верхнего слоя, под ним была съедобная трубка. В мае собирали черемшу – от нас до середины июля пахло диким чесноком. Думаю, за счёт этой зелени я набрался здоровья на всю оставшуюся жизнь.

Дом наш был двухэтажный (он и сейчас стоит на улице Мамонтова, недалеко от Белого озера, природной жемчужины старого Томска). Низ – кирпичный, верх – деревянный. Наша квартира находилась наверху, туда вела, как мне помнится, жутко высокая и крутая лестница, а внизу жила семья какого-то торгового начальника. Летом из их кухни во двор выползали потрясающе вкусные запахи. Однажды мой дядька Геннадий, тогда уже десятилетний пацан, нашёл дохлую кошку и, раскрутив её за хвост, запустил в открытое окно. За окном стоял стол, семья ответственного работника собралась за ним обедать и на первое у них был куриный суп. Кошка влетела как раз в тот момент, когда хозяйка поставила на стол и открыла кастрюлю. Лохматый вонючий снаряд попал точно по назначению и вызвал большое волнение. Таких многоголосых воплей наш двор не слышал ни до, ни после. Генку папка выпорол офицерским ремнём, но не по-настоящему: так, мазнул пару раз для порядка, а Генке приказал орать – и тот тоже базлал благим матом. Я стоял рядом и плакал «за компанию». Мне шёл пятый год.

Я не скучал по отцу. Может быть потому, что в круге сплошной безотцовщины я был такой же, как все, а может, благодаря деду. Не случайно же все мы называли его папкой, единственного в семье мужчину.

Настоящая фамилия деда не Свечников, а Татько. Родом он был с Полтавщины, потомок запорожского казака. Так что я могу считать себя на четверть украинцем, так сказать, квартироном. Наверное, из-за деда семья наша тесно связана с Украиной: три его дочери из четырёх и одна внучка были замужем за украинцами – так что у меня родня есть и в Западной Украине, и на Одессине, и в Донбассе. Правда, я её не знаю, а спросить не у кого.

Семью Татько понесло в Сибирь ветром столыпинской реформы. Шли пешком, где-то заразились тифом, и родители Гордейки умерли, а его самого усыновили русские Свечниковы. Новая семья была большая, жили скудно, однако Гордей не только учился в школе, но и курсы счетоводов закончил, и жениться сумел – на дочке зажиточного крестьянина Ставцева. Того самого Матвея Федоровича, которого я едва не застрелил. Не кулака, как его объявили при советской власти, но крепкого хозяина, тоже из переселенцев, из Орловской губернии. Крепким он стал, потому что вместе с сыновьями работал от зари до зари, не пил и не курил. Гордей тоже не пил, не курил и служил, не считаясь со временем. А тут – Первая Мировая, и двадцатилетний счетовод оказался на фронте, оставив беременную жену. Курсы счетоводов спасли парня от окопов: грамотных не хватало, и до Февральской революции, до развала фронта Гордей писарил в штабе полка. Вернулся без наград и званий, зато – живой.

Гражданская тоже обошла его стороной. Уж как умудрился откосить от колчаковской мобилизации и партизанского добровольчества – не ведаю, не спрашивал, но факт остаётся фактом: все бурные годы он прослужил в сельском кооперативе (были такие и во времена Колчака). Росли две дочери – Полина и Мария (моя мама), родились и быстро умерли два сына – Гордей работал и жил в полном соответствии со своим именем. Гордо и независимо.

Внешность у него была не ахти какая: росточка небольшого, ноги кривоватые, на лицо – самый обыкновенный, без изъяна, но и без красоты – а вот чем-то приглянулся дочери богатея Ставцева, и сельская красавица благосклонно принимала его знаки внимания. Зато трём ее братьям-здоровьякам счетовод «шибко не пондравился», они попытались его отвадить кувалдами-кулаками, но не тут-то было: ухажёр от сестры не отстал, а та, заметив синяки и ссадины на физиономии «милёнка», тут же всё поняла, устроила своим заботникам скандал и, в пику им, а заодно и отцу, тоже не жаловавшему кандидата в зятя, пошла под венец без благословения. Пелагея была любимицей отца, и тот, скрепя сердце, осенил иконой молодых уже во время свадьбы. Братья тоже любили сестру и тоже смирились, но поставили Гордею условие – жить в семье Ставцевых и работать на неё. Однако молодожён их требование не принял: жену после свадьбы забрал в крохотную квартирку, выделенную кооперативом, и продолжал служить на прежнем месте. Жили молодые на одно жалованье счетовода, все попытки тетья помочь Гордей пресекал на корню. Правда, пока служил в армии, Пелагея, родив Полину, приняла помощь семьи, за что Гордей, вернувшись, едва не выгнал её из дому. Простил из-за дочери.

Детей папка любил до самозабвения – и своих, и меня, первого внука, а потом и моих братьев. Наверное, невольно перенял я это его душевное качество, потому что мои дети для меня всегда были на первом месте. Вспоминается случай сорока с лишним лет давности. Я тогда работал в оборонном институте и много курил. Как-то, вернувшись из командировки в Москву, пообедал и тут же закурил – хотел насладиться привезёнными из столицы импортными сигаретами. Гляжу: подходят ко мне, бок о бок, мои пацаны – старшему тогда было тринадцать, младшему семь, – и старший говорит этаким ломающимся баритончиком:

– Батя, ты вот учишь нас не курить, а сам смолишь.

Не знаю, сами они до этого додумались или мать подучила, но я посмотрел в их ясные глаза, погасил сигарету и сказал:

– Всё, ребята, больше не курю.

И выполнил обещание полностью. Не мог не выполнить.

Отец снова появился на нашем горизонте в 50-м году. Я тогда жил у маминой старшей сестры, тети Поли (у неё не было своих детей, и она в 45-м взяла меня на воспитание; я прожил с ней все школьные годы), поэтому о приезде отца узнал от мамы, когда уже стал студентом.

Он приехал из лагеря, где отсидел три года за растрату своей жены. Она работала продавщицей в киоске, ревизия выявила недостачу, и отец взял вину на себя. Пока отбывал срок, жена его бросила. Он пришёл к маме в старом плаще и опорках на босу ногу, попросился обратно. Ему было тридцать пять лет, маме – двадцать восемь. Казалось бы, вернулся блудный муж, можно было всё начать сначала, однако мама его выгнала. Сказала мне, что побрезговала, но я думаю, что не смогла ему простить ту фронтовую жену, а может быть, проявленное малодушие.

Да, вспомнился ещё один эпизод, имеющий отношение к отцу. Тетя Поля с мужем, дядей Саввой Хоменко, и я жили тогда в Шадринске, районном городке Курганской области. Я учился в шестом классе. Тётка держала меня, что называется, в ежовых рукавицах. Однажды она сильно на меня рассердилась и несколько раз стегнула ремнём. И до этого случая мне ремешка доставалось, но я относился к наказаниям довольно равнодушно, а тут что-то стало до того обидно, что я вспомнил – да тут же неподалёку, всего-то километрах в ста к северу, город Талица, откуда родом мой отец. Может, он там и живёт – уйду к нему! Не выгонит же родного сына!

Дело было зимой. Недолго думая, встал на лыжи и отправился в поход. Пройдя сколько-то километров по снежной пустыне, проголодался, тут и смеркаться начало, впереди же, да и вокруг, ни огонька, ни светинки – а что, если волки по степи шастают?! В общем, струхнул я и повернул назад. Не состоялось свидание с отцом.

Дом наш на улице Равенства (хорошее название, но в 61-м её переименовали в улицу Гагарина – власть нашла, чем пожертвовать), как ни странно, очень походил на прежний, что на Мамонтова: те же два этажа, низ кирпичный, верх – деревянный, и мамина квартирка на втором этаже – меньшая

часть когда-то единых на весь этаж апартаментов. Большую занимала старая дантистка (приём на дому) с внуком. На общей с соседкой кухне нашими были шкафчик, конфорка на дровяной плите и стол. В выдвижном ящике стола среди всякой мелочёвки я случайно обнаружил медаль «За отвагу» на маленькой прямоугольной колодке без муаровой ленточки. Помню, меня неприятно поразило, что такая почётная для солдат и младшего командного состава награда валяется в каком-то затрапезном виде, но больше – озадачило, что край медали оплавлен. Было понятно, что сюда ударила пуля, и медаль спасла человека, моего отца. Тогда, пожалуй, впервые у меня в груди отозвалось болью это слово – «отец». И – разозлило.

– Я тебя ненавижу! – вслух сказал я, бросив медаль обратно в стол. – Ты предал всех нас, предал даже свою отвагу. Не хочу о тебе слышать, не хочу тебя знать!

Такой вот излился горький пафос.

Один лишь раз отступил я от своих слов. Вернее, не отступил – ситуация напомнила о них. Почти сорок лет спустя. Жил я тогда благополучно и счастливо в Благовещенске, славном городке на Амуре. Вследствие не очень приятных событий был вторично женат, родилась дочка. Вспомнил как-то свои школьные годы, первую любовь – жена упрекнула меня:

– Что же ты её не отыщешь? Первая любовь, она ведь навсегда – первая.

Жена много меня моложе, но и настолько же и мудрей – не раз убеждался. Потому послушался, написал в адресное бюро того города, где, как я знал, жила моя школьная подруга, и получил ответ с адресом. Завязались ностальгическая переписка, разговоры по телефону. «И чуть больше стало доброты, ярче солнце, веселее смех...» – стихи эти по другому поводу, но весьма созвучны случившемуся.

Несколько раз говорила жена и про отца: «Разыщи! Разыщи!» – но тут я упёрся, как баран, и ни в какую! Почему? Наверное, потому, что в памяти моментально всплывало: сумерки... сундук... воющая мама...

Жена оставила меня в покое, но я чувствовал, что не покидает её мысль о розыске. Однажды во время передачи телевизионной «Жди меня» сказала:

– Какой молодец этот парень! Никогда не видел отца, но разыскал аж через сорок лет! – и глянула на меня.

Я промолчал.

Сейчас я всматриваюсь в лица ветеранов на Красной площади. Мог ли быть отец среди них? Нет, не мог: сто лет – не шутка! Я задаю себе вопросы – спрашивать-то больше некого – и как бы заново оцениваю то, что мне известно.

Вопрос: можно ли считать его подлецом и предателем за роман на фронте? Молодые люди, каждый день под огнем, в любой момент могли быть убиты, а любить-то хочется, ласки и нежности хочется, тем более среди беспощадной грубости и жестокости войны. Нет, думаю я сейчас, нельзя его осуждать, не имею права. Вспомнился эпизод из михалковского фильма, когда обгорелый юный танкист на последних минутах жизни просит такую же юную медсестру показать ему обнажённую грудь, а то умрёт, не насладившись, хотя бы взглядом, женской красотой. Многие из-за этого обвиняли великого режиссёра в пошлости, а для меня та сцена пронзительна до слёз.

Другой вопрос: достойным ли человеком был тот, кого мама выгнала, да ещё и с презрением? Он взял на себя вину близкого и пошёл на три года в лагерь, а там не пряниками потчуют. Почему он так поступил? Теперь, на остывшую за многие годы голову, понимаю: он считал, что как мужчина должен защитить женщину, тем более любимую. А за то, что, преданный той любимой, попытался вернуться к детям, разве можно презирать? Одна утрата напомнила о другой, в которой повинен уже он сам. Попытался исправить, покаяться. За покаяние и не такие грехи прощаются.

Ещё вопрос: как же он, мужчина, воин, бросил заслуженную награду, боевую медаль, спасшую ему жизнь? Но, если пришёл из лагеря с медалью, значит – дорожил ею, берёт, и, может быть, она была его главным аргументом, что он всё-таки не последний человек из живущих. Уходя, изгнанный, оставил её на память детям, а выбросила медаль как раз та, что презрела его в драном плаще и опорках, не увидевшая его покаяния. Моя мама Мария, названная при крещении именем Богородицы.

...Я смотрел на парад, на ветеранов, пил водку, думал и плакал.

Прости меня, отец!